А. В. АМФИТЕАТРОВ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Привыкнув с детских лет к авторитету Александра Ивановича, как несравненного русского Демосфена, я услыхал его лично и познакомился с ним лишь в 1896 году, в Москве, в окружном суде. Он выступал в качестве гражданского истца по делу бывшего редактора „Московских ведомостей“ С. А. Петровского, обвинявшегося, не помню кем, в клевете. Говорил Урусов красиво, бойко, эффектно, с либеральным огоньком, был раза два остановлен председателем, но, в общем, я должен сознаться – речь была довольно бессодержательна и неприятно утомляла слух громкими банальностями…»

- Амфитеатров Александр Валентинович
  - 1
  - 2
- notes
  - 1
  - 2

Амфитеатров Александр Валентинович
Александр Иванович Урусов и Григорий Аветович Джаншиев

1

Было время, когда Урусов был именем истинно всероссийским. Можно даже сказать: его имя стало как бы нарицательным – синонимом адвоката – из звезд звезды, чего-то столь необычайно блестящего и важного, что в присутствии его светила небесные тускнут и только сконфуженно помигивают:

– Что ж? мы люди маленькие!

Смутно вспоминается мне из детства наезд Урусова в маленький провинциальный городок Мещовск в Калужской губернии, на сессию окружного суда. Это было землетрясение какое-то, землетрясение умов. Дамы ходили, будто пьяные. Мужчины… Если бы Александр Иванович, возгордившись, заявил, подобно послам древлянским:

– Не хочу ни идти, ни ехать, – несите меня в лодке!

Его понесли бы, ей-Богу, понесли. И это еще – до речей, на веру, по слухам из столицы и газетным статьям. А уж после речей – пошло совсем столпотворение вавилонское.

– Урусов! – истерично стонали дамы.

– Да-с, Урусов! – многозначительно щелкали языками мужчины.

– Одно слово – Урусов! – сливались голоса в общий хвалебный хор, как в «Снегурочке», когда поют:

А мы просо сеяли, сеяли.

Сначала врозь мужчины и женщины, а потом все вместе…

Впечатлений хватило на несколько месяцев. Об Урусове говорили, Урусова копировали, слова Урусова пережевывали, позы и мимику Урусова припоминали чуть не целый год.

Медвежий угол занесло снегом. Обыватели закупорились по своим мурьям. Волки вышли из лесов и бродили по улицам, слушая под окнами, что толкуют между собою аборигены. И, когда вдосталь наслушавшись, принимались выть, казалось, что даже в протяжном вое их звучит:

– У-у-у-урусов! У-у-у-урусов! Урусов!

Привыкнув с детских лет к авторитету Александра Ивановича, как несравненного русского Демосфена, я услыхал его лично и познакомился с ним лишь в 1896 году, в Москве, в окружном суде. Он выступал в качестве гражданского истца по делу бывшего редактора «Московских ведомостей» С. А. Петровского, обвинявшегося, не помню кем, в клевете. Говорил Урусов красиво, бойко, эффектно, с либеральным огоньком, был раза два остановлен председателем, но, в общем, я должен сознаться – речь была довольно бессодержательна и

неприятно утомляла слух громкими банальностями… Заметны были огромная практическая привычка свивать цветы красноречия в изящные гирлянды и любоваться оными, сильная эрудиция, знание суда, драгоценная адвокатская способность в спокойном духе горячиться, но все это – как бы изношенное, полинялое.

– Благородства пропасть, толку никакого! – сказал мне сосед-репортер.

А я думал:

– Был конь, да уездился.

И мне было жаль разрушающейся знаменитости, в которой слышна такая колоссальная виртуозная сила – всесторонне гибкая, но и всесторонне мертвеющая. Я вынес из урусовской речи совершенно такое впечатление, как когда-то, слушая знаменитую Альбани, соперницу Патти, которая, говорят, перепевала соловьев:

– Великолепно, но… тут как будто пружина действует. Кончится завод, – и шабаш.

В антракте нас познакомили. Урусов был чрезвычайно любезен, и мы довольно долго ходили по бесконечному коридору московского здания судебных установлений, беседуя о новейших литературных явлениях. Я тогда написал что-то непочтительное о французских неоромантиках и символистах, и князь меня за это «угрызал», как сам выразился. Разница воззрений наших на искусство выяснилась сразу столь глубокою и непроходимою пропастью, что спорить было напрасно, – я слушал Урусова, не возражая ни слова, и, скажу откровенно, интересовался не столько его взглядами, сколько им самим. Чувство почтительной жалости к нему, как к сходящему на нет chef d'oeuvre'y [1] эпохи, не прошло, но усилилось от этого разговора. Розовый старик, с барскою осанкою, с барскими мягкими руками, барским сдобным голосом, с частым нервным похохатыванием среди быстрой речи и с странным, перламутровым взглядом умного младенца, Урусов казался ужасно старым – гораздо старше своих лет… Походка у него была шаткая, приседающая, точно он на пробку становился. Я смотрел и думал: «Ну, тут смертью пахнет».

Изъяснялся он чрезвычайно красиво, и, кто любит langues bien pendues [2] ради них самих, должен был находить в его беседе огромное удовольствие. Но это был русский европеец паче самих европейцев, с порешенными взглядами такой давней и незыблемой влюбленности в западнические устои, которые он считал непогрешимыми, что увлечь собеседника-наблюдателя он вряд ли был способен. Люди, которые слишком скоро определяются и все порешили, – скучны. Всякий русский человек

– немножко Гамлет и любит сомнение в другом. Тем-то, например, и дорог, и люб русской душе Лев Николаевич Толстой, что развивался он в убеждениях своих на глазах наших, как великого сомнения человек, много раз спотыкавшийся, падавший и восставший, вылечившись, чем ушибся. Урусов же напомнил мне иностранных писателей-профессионалов: они очень умны и образованы на свой образец, но у них на право мыслить и высказываться по-своему есть мерочка, ее же не прейдеши, – поэтому, в пределах мерочки, они удивительно непогрешимы и докторальны, а, отбыв приказанное мерочкою, в огромном большинстве, премилые буржуа.

Кроме этого случая, мне с Урусовым говорить не приходилось. Встречаясь, весьма любезно менялись поклонами, и только.

2

Григория Аветовича Джаншиева я знал лучше. Мне жаль вспомнить, что когда-то, ради красного словца, я обидел этого прекрасного человека. Он, возвратясь из Швейцарии, описал тамошние суды, посвятив благоустройству их гимн в обычном ему восторженно-приподнятом тоне стихотворения в прозе. Фельетон этот попался мне под руку в недобрый час; мне показалось смешным, что Джаншиев воспевает, как влюбленная старая дева, двери, половики и скамейки женевского суда, и я напечатал по этому поводу что-то очень резкое. Напечатал и пожалел, но было уже поздно. А от Джаншиева, в то время почти совсем со мною незнакомого, я получил довольно длинное письмо, где эта голубиная душа без всякой злости говорила, что не понимает, зачем мне понадобилось осмеять его. «Думаю, что это не ваше убеждение обо мне, что вы не верите, будто я таков, как вы написали, и когда-нибудь сами пожалеете, что так написали». Я до сих пор не могу себе простить, что по ложному стыду и лени оставил это хорошее письмо без ответа. А Григорий Аветович был прав: я раскаялся в напечатанной о нем статье даже не «когда-нибудь», а тогда же, двенадцать лет назад, и с крайним неудовольствием вспоминаю об этой статейке «назло» даже и теперь.

Довольно много писем от Джаншиева я получил, и несколько раз был он у меня, когда армянская резня в Малой Азии и Константинополе сделала его центром русской помощи пострадавшим армянам. Помню – ранним утром маленький, горбатенький, с ласковою и болезненною улыбкою, но непреклонно-настойчивый взобрался он на четвертый этаж суворинского дома в Эртелевом переулке, где я тогда жил, поднял меня с постели и принялся жаловаться на подозрительное отношение «Нового времени» к армянам.

– Григорий Аветович! Да я-то тут при чем же? Ведь вы, если следите за газетою, знаете, что я армян не трогаю, а если хотите знать больше, то и остаюсь в армянском вопросе при совершенно особом мнении. Я был в Константинополе вскоре после резни, виделся с Нелидовым, с Максимовым и вынес на этот счет совсем не те впечатления, как «Русский странник»…

– Я потому и пришел к вам, что вы при особом мнении.

– Чего же вы от меня хотите?

– Чтобы вы убедили газету в ее заблуждении.

– Да что же? Я написал из Константинополя корреспонденцию, как выяснилось дело для меня, совершенно в

разрез «Русскому страннику», – она не была помещена. Значит, газета верит ему больше, чем мне, или ведет свою политическую линию; я с этим ничего не могу поделать.

– Поезжайте сами в Армению и пишите оттуда…

– Позвольте спросить: на чей счет? Газета не пошлет; а если поеду на свой, то будут ли мои, так сказать, добровольческие корреспонденции обязательны? Не говоря уже о том, что мои друзья в журналистике поднимут крик: «Армяне купили!..» Ведь меня уже болгары «покупали», поляки «покупали», сербы «покупали». У нас стоит сказать о ком-либо доброе или даже не совсем злое слово, – кто-нибудь сейчас и кричит уже: «Куплен!»

В тот приезд Джаншиев был у меня раза три. Тогда он издавал «Братскую помощь» в пользу пострадавших армян и хотел, чтобы я дал туда свои константинопольские впечатления. Но тут подоспела у меня такая личная передряга, что стало не только не до армян, но, полагаю, я не слишком ужаснулся бы, даже кабы пол-Петрограда провалилось. Г. А. прислал мне два-три шутливые напоминания, а под конец сердитое: «Что человек не пишет обещанной статьи, это можно объяснить безалаберностью и ленью, но – когда не отвечает на письма – это значит, он в рецидиве безграмотности».

Встретившись затем с Джаншиевым в Москве, я извинился пред ним, изъяснив ему свои обстоятельства, и он же переконфузился и стал вдвое больше извиняться, что «беспокоил меня своими дрязгами»:

– Ничего, ничего! Вы для второго издания напишите. Книга прекрасно идет. Будет второе издание.

Он горько жаловался на армянофобию, которая, по его мнению, быстро распространялась в русском обществе. Чуток он был к этому «растлению» поразительно. И даже чрезмерно подозрителен. Я не припомню сейчас, не имея под рукою его писем, за что именно, но вдруг в 97 году он мне прислал пресвирепое письмо – по поводу какой-то совершенно невинной шутки об армянах, хотя очень хорошо знал, что зла на армян я никогда не мыслил, не мыслю да и не могу мыслить по сотням связей, дружб и симпатий, от юности соединяющих меня с армянами Закавказья.

Последнее письмо от Г. А. – чрезвычайно ласковое – я получил столь же неожиданно, как и другие. Его письма, диктованные «гласом души», потребностью высказаться, всегда сваливались сюрпризом, – думаешь, человек давным-давно забыл о твоем существовании на белом свете, а он вдруг пишет. Оно пришло в мае 1899 года – по поводу «радикальной» программы, объявленной «Россиею», и представляло целый трактат о

веротерпимости и против национальных предубеждений.

В каждом поколении есть люди таланта, люди ума, люди действия. В поколении шестидесятых годов Джаншиев был бесспорно и умен, и талантлив, и деятелен, но, главным образом, он был человеком света, светоносцем.

Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы,
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.
Когда же вдруг из тучи мглистой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.
Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной…

Это стихотворение Фет будто о Джаншиеве написал. Только последние стихи:

И *тем* ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит, —

надо для Джаншиева перевернуть в обратную антитезу:

И *чем* ужасней сумрак ночи,
Тем ярче светоч мой горит!

Ибо – вот уж о ком по правде-то сказать можно, что тьма не объяла его.

Со светом, возжженным у огня шестидесятых годов, Григорий Аветович бестрепетно прошел свою честную жизнь не столько бойцом, сколько трубадуром великой эпохи. Он охотно брался, когда надо, за меч и храбро им бился, но настоящее оружие его – была лютня, даже немножко сантиментальная лютня. И слово свое, и дело отдал он безраздельно великой богине человечности, зарю царствия которой видел в 19 февраля 1861 года. Богине человечности он служил равно и в России, и в местах всесветного армянского рассеяния. Армян-сородичей он любил, как русских, а русских – как армян. Дай Бог каждому русскому так любить Россию, как любил ее армянин Джаншиев, и принести ей хоть треть той пользы, что он принес.

Я считаю Григория Аветовича идеалом гражданина, каким может стать в жизни совершенного русского общества образованный инородец, получивший в России свое воспитание, скрепленный с Россией всеми правами и обязанностями, горячо к России привязанный, сознающий себя русским политически, и в то же время не забывший ни родного языка, ни родной веры, ни родного племени, чутко болеющий сердцем за его судьбы, полагающий душу, дабы улучшить его положение, сохранить и поднять его исторические бытовые особенности и права. Русские охранители полагают, что националист с окраин есть антипод националиста из центра, что инородец и русский гражданин – начала чуть ли не противоречащие, что лишь руссификация создает русских, и т. п. Увы! всюду, где мы применяли знаменитые руссификационные меры, Джаншиевы не вырастали. Джаншиевых не видать между поляками, претерпевшими школу И. В. Гурко, не наезжает их и из Финляндии. Боюсь, что перестанут они наезжать и из Закавказья!

Патриот государства и патриот племени, – что так удачно совмещал в себе Григорий Аветович, – отлично уживаются между собою, когда государство и племена, им объединяемые, находятся в свободном и доверчивом равенстве, чуждом прозы с одной стороны и рабского страха – с другой. А только такой совместный патриотизм и ручается государству, разноплеменному по составу населения, что прогресс его будет идти неуклонно стопою мирною и благоуспешною. Спасителен только патриотизм, вмещающий мирный труд в мирном и твердом равенстве гражданства и народностей. Всякий иной патриотизм – начало гибели, потому что диктуется хвастовством и угрозами силы, опирающейся на меч, обнаженный или готовый обнажиться, по востребованию. А – «взявший меч от меча и погибнет».

1900

notes

Примечания

1

шедевр *(фр.)*

хорошо подвешенный язык *(фр.)*